

ТАТЬЯНА НАЗАРЕНКО: У ХУДОЖНИКА ЗАВИСТЬ ЕСТЕСТВЕННА

**ОНА ВСЕГДА НА ВИДУ. ЕЕ РАБОТЫ ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ И СПОРОВ
НА ЛЮБОЙ САМОЙ ПРЕСТИЖНОЙ ИЛИ САМОЙ АВАНГАРДНОЙ ВЫСТАВКЕ**

Так повелось с начала 70-х годов. Тогда стали говорить о талантливой и самолюбивой Татьяне Назаренко. Она то делала многофигурные картины с реалистически прописанными в деталях семейными портретами, то обращалась к истории Пугачевского бунта, казни народовольцев и трагедии декабристов, то ужасала свиноподобными монстрами и карнавалами. А в последнее десятилетие действительный член Российской академии художеств, лауреат Государственной премии России живописец Татьяна Назаренко занимается «обманками» (живопись, создающая иллюзию реальных предметов) в стиле XVIII-XIX веков, выпиливает из фанеры фигуры людей и раскрашивает их, снимает на фото «биографию» собственных ощущений от себя и от жизни. И, наконец, сегодня отмечает сколько-то юбилейных лет своей жизни на земле и в искусстве... В мастерской художницы листаю ее новый роскошный альбом, изданный к нынешнему юбилею, разглядываю картины, стоящий на подрамнике еще не дописанный чей-то парадный портрет. А Татьяна поясняет и по поводу альбома, и по поводу портрета...

— Я когда первый раз открыла этот альбом — ах! ох! — начала придираться. Неужели я могла так его составить — церковь со святыми — и тут же обнаженная? Смотрю — 160-я, а потом сразу 177-я страница! Говорю: «Ребята, что такое?» Они, оказывается, целую «книжку» пропустили, теперь исправляют.

— На портрете кто-то из знаменитостей будет?

— Это владелец магазинов «Арбат-престиж». Он у меня купил большую «солнцу» работу «Пугачев». На Арбате их офис. Входишь в офис — а там висит моя картина. И еще Виктора Попкова... Совершенно замечательная компания. Пытаюсь сделать парадный портрет. Никогда в жизни не выпадало такое счастье — сделать большого парадный портрет.

— Признаться, смотрите для куража парадные портреты старых и великих мастеров?

— Смотрю. Недавно была дивная выставка в Историческом музее «Искусство парсуны». Потрясающая. Мы же не знаем своего русского искусства. Мы всегда думали, что подражали европейцам. Не подражали европейцам, искусство портрета у нас приобрело совершенно другую форму. Старый русский провинциальный портрет — знаменитый Григорий Островский, который я обожаю, как бы примитивный портрет, но по-настоящему — не примитивный. Совершенно другое чувство цвета, иная, чем у европейцев, трактовка. Там она более, не скажу поверхностная, но более изощренная, более профессиональная. Вместе с тем, вы знаете, в примитиве больше искренности, красоты по-настоящему. Не случайно для многих скульпторов служат примером скифские бабы, африканские скульптуры. В них есть толчок для настоящей формы.

— Там больше прямолинейности, передающей суть.

— Совершенно верно. Суть. В русских портретах тоже есть суть. Конечно, смотрю старых мастеров. Мне доставляет удовольствие учиться.

— Так или иначе, вы меняетесь. Стиль, тематика. Помню, ваши картины 70-80-х годов: «Чаепитие в Поленове», «Московский вечер», «Лето в Быкове» с какими-то снами-воспоминаниями — в них была трогательная наивность. Лет 10 назад у вас начался социально-трагический, обличительный период — скажем, в вашем цикле работ о московских подземных переходах. А как сейчас?

— Это было даже не 10 лет назад, а 1996 год — выставка «Переход». Все поменялось с тех пор. Нет больше таких переходов. Нет такого безумного скопления нищих. И другое отношение к ним. Когда я сейчас вижу одну старушку, стоящую с протянутой рукой, — это печально. Кинешь ей денежку. Но сейчас нет чего-то такого глобального, когда кажется, что все люди вышли на улицу просить подаяния, что все остались без жилья, без крова, без пропитания, без хлеба. В той серии работ был один человек, которому я сделала очень детальные

надписи: ветеран ВОВ, такого-то года рождения, с фотографией прикрепленной, с адресом, с номером сберкассы и так далее. Не знаю, подавали ли ему. Люди, в принципе, идут равнодушно. Мы же привыкаем к печальному, что-то притупляется, когда видишь эту шеренгу нищих. А знаете, как все было забавно? 25 января 1996 года, когда я в переходе буквально доделывала последние фигуры, на Пушкинской стучали молотки — срочно строили павильоны. И аккурат под 25-е число возник сверкающий переход: яркие лампы, розовые кофточки, блестящие, блестящие. И всё! Пришел конец этим нищим, бомжам. А ведь до этого там была страшная клоака, залитая мочой, с какими-то панками, девками — все самое страшное было там. Страшнее, чем на Курском вокзале. Теперь каждый раз, когда возвращаешься откуда-то в Москву, то думаешь, где ты, в каком месте... Москва очень многолика.

— Когда вы начинали, была цензура, вас не принимали. Художники тогда казались сотрудничеством талантов, противостоящих официозу. Или это только так представлялось со стороны?

— Конечно, так и было. Возник феномен: художники не были перечеркнуты властью, которая с ними боролась или их поддерживала. Она боролась своими методами — старалась разьединить, внести раскол... Поэтому время от времени кого-то и поддерживала.

— Власть вас замечала...

— Совершенно верно. Благодаря этому все художники были наперечет, известны по именам. И все знали, кто официальные художники, а кто неофициальные.

— Знаю, что вы дружите с Натальей Нестеровой, Александром Ситниковым. Сохранилась ли общность вашего поколения?

— Конечно. И сейчас замечательно вместе существуем. Вчера с Наташкой ехали вместе на троллейбусе. Около Новодевичьего остановились троллейбус вместо такси, доехали до дома... Много лет назад была такая «Выставка 23-х» — была такая группа скульпторов, графиков, живописцев. Наш костяк от нее и по-прежнему остался. Интересно, что кто делает.

— Что утрачено с годами?

— Например, то возрастное состояние. Тогда были более искренние отношения. Более незлобивые. Щадящие. По-своему все были свободными — писали, совершенно не думая, кого из нас и кто купит (никто, естественно, не покупал). Закупки Союза художников были редкими. Работа в художественном комбинате всех выравнивала. С одной стороны, смешно говорить, что уравниловка — это хорошо. Конечно, это плохо. С другой стороны — не было зависти. Теперь же непременно определяется твой уровень по категориям: где выставляется, кто выставляет и покупает, у кого какая галерея. Кому дали особый. А кому еще нет, никогда и не дадут. Конечно, это откладывает отпечаток на отношения. У художника зависть, соперничество естественны, в



Автопортрет с сыном. 1977 г.

какой-то степени даже помогают, но редко способствуют дружбе...

— Вы преподаете?

— Я профессор Суриковского института, — не просто так! Вот, открылась молодежная выставка в Музее современного искусства. Там будут выставляться мои выпускники-дипломники...

— Рады за них?

— Мне приятно, что люди сразу входят в жизнь. Когда я была в их возрасте, у нас случилась смешная история. Членом Союза художников можно было стать, будучи участником не менее трех выставок, а на выставки принимали работы только членов Союза. И каким-то чудом мы протискивались. У меня первая молодежная выставка была в 66-м году. Как это все происходило? За нас кто-то заступался. Наши старшие товарищи кого-то разглядели, кого-то поддерживали. А сейчас наоборот: Ребята, когда заканчивают институт, уже попадают в галерею. Или начинают где-нибудь очень сильно халтурить, и их уже на выставках не увидишь. Они уже начинают мнить себя чуть ли не монументом, закладывая фундамент для своего будущего существования. Очень интересно все в нашей жизни...

— Парадокс, но, может быть, бывшие запреты невольно заставляли художников углубляться в себя, в профессию?

— Вы совершенно правы. Я вспоминаю, как ныне великие, замечательные, получающие тысячи и тысячи, художники сидели в своих подвалах или на своих чердаках, работали дворниками или художниками-оформителями и писали, писали картины только потому, что не могли этого не делать. Выражали то, что в душе. Хотя они знали, что эти работы никогда не выйдут из подвала. А если выйдут, не будут стоить миллионов. У нас была какая-то особая защищенность: ты мог пойти по этому пути, а мог по-другому. Был живописный комбинат, который давал 120 или 220 рублей. После этого гуляй себе, делай что угодно.

ро, как ему бы хотелось. Не может он Шопена сыграть, летающее нечто... Так и я должна снова сесть, эти гаммы отштудировать, руки размять, может быть, тогда все получится как надо.

— Значит, продолжаете пропагандировать важность владения школой?

— У нас век дилетантизма. Ведь стало очень много приспособлений, которые помогают неучам. Можно и в космос полететь, если у вас хорошая физическая форма, вы легко переносите перегрузки и можете заплатить деньги. Или у вас есть чувство цвета, вы прекрасно подбираете для себя обои и кафель для дома — глядишь, а вы уже пишете картины. Спокойно выставляетесь. Сейчас писатели пишут картины, продюсеры пишут картины. Такое время — быстрое, поверхностное.

— Осознание своей правоты в искусстве к вам сразу пришло, или оно закалялось?

— Художник должен быть уверен в том, что он делает. Понимаете, мне посчастливилось жить в такое время, когда художник, как и поэт, был больше чем художник. И поэтому власти к нам были пристрастны — закрывали выставки, давили бульдозером. Если и не впрямую, то все равно это и ко мне относилось — мои работы неоднократно снимали с выставок. Это всегда было оскорбление, плевок. Повышенный интерес власти к себе ощущаю до последнего времени. Знаете, когда я ставила свой фанерный памятник «Рабочий и Колхозница» на площади позади Манежа, в два часа ночи я пришла к нему, увидела, как крупные снежинки ложатся на плечи фигур, а до этого просто такая фанера была, я подумала: «Боже, какое счастье испытывают скульптуры — поставят монумент, а потомлюбуются». И ушла спокойно спать. На следующее утро еду на съемки на ТВ — а моей скульптуры уже нет! А ведь она должна была стоять пару недель, пока будет выставка на этой площадке Манежа. У меня было шоковое состояние. Был 99-й год. Всего пять лет назад.

— И не вернулись?

— Потом поставили обратно, но уже не на фоне Кутафьей башни, а в углу. Памятник был виден только тем, кто очень хотел что-нибудь увидеть... А когда-то с трех выставок снимали по идеологическим соображениям моего «Пугачева»... История — очень интересная штука. Мы ее вычеркиваем, мы ее не знаем, мы повторяем те же ошибки. У нас очень странная страна, и жить в ней очень интересно. Не дай бог родиться в эпоху великих потрясений. Тютчев писал: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» Я рада, что посетила сей мир в такие роковые минуты. Неизвестно, какие еще будут. Но я рада, что мне не довелось жить во времена войны или в 37-м году, когда расстреляли моего дедушку. Генетическое ощущение того времени во мне присутствует. Моя бабушка всегда говорила, что у стен есть уши. Может быть, если бы не история деда, если бы не бабушка, которую я обожаю, которая меня вырастила, если бы не ее безумный страх — кто знает, с кем бы я сейчас была. Ведь я была знакома, дружила с порясающими художниками, которые уехали потом за границу. Бабушка очень хотела, чтобы все было нормально... Но мы генетически носим в себе страх. И я пытаюсь привить двум своим сыновьям осторожность. Все еще может быть. Они этого не понимают, они выросли по-другому.

— Неужели вы такая осторожная?

— Все вспять не повернется. Но какой-то необычный виток, конечно, возможен. Я допускаю все.

Беседовал Петр КУЗЬМЕНКО